

...Моя школа – 170я. Ее, кроме меня, окончил Андрей Миронов (годом позже).

С Мироновым знакомы были?

Да, он был очень яркой фигурой, всегда выступал на конференциях. У нас была очень активная литературная деятельность, и «конференции» проводились, то есть совместные вечера с 10-А классом женской школы, но не № 635, которая совсем рядом, в одном дворе, за забором (когда сделали отдельное обучение, забор и воздвигли). Почему-то полагалось нам водиться с классом «А», из сто... точно сейчас боюсь соврать номер – 65-й номер или 179-й, где-то на Дмитровке, на улице Чехова, за театром Комсомола. Школа знаменита тем, что там училась поэтесса Тамара Жирмунская. Но тогда, конечно, неизвестно было, что она поэтесса, это выяснилось уже потом, и все рассказывали нам, что она проходила собеседование с самим поэтом Долматовским. Училась в Литературном институте. Тамара Жирмунская блистала тем, что она говорила на всех вечерах монолог Татьяны из «Евгения Онегина».

Наш класс был «В», и были еще «Г» и «Д», по-моему. Класс «Г» был самый интересный. У меня и сейчас друзья больше из класса «Г». Один вот умер недавно, близкий, Юлий Остринский. А другой мой друг, с самого первого класса, – Виталий Бедев. Но это из нашего класса, это совсем свой. А Юлий из класса «Г». Они были большие интеллектуалы, литературу у них преподавал Сан Саныч, про него разные истории рассказывали <Александр Александрович Пластинин>.

Наша учительница литературы Лидия Герасимовна Бронштейн, скромная, небольшого размера, но очень большой суровости женщина. Она нас в строгости держала, но, тем не менее, конференции разрешались и проводились. Я тоже выступал, что-то такое молоток должен был, и это называлось доклад. Сначала мне казалось, что абсолютная чепуха, а потом немножко втянулся, и, думаю, тогда в первый раз заинтересовало меня литературоведение.

Именно из-за такой конференции я увидел книгу Чуковского «Мастерство Некрасова», двадцатых годов издания, - самое лучшее, что про Некрасова было написано. И я вдруг понял, как там все точно.

Некрасова-то я раньше еще прочел, и хорошо помню, что прочел еще в Мариуполе, как только приехал. Темнота, электричества не было, при керосине жили, жутковатое житье... Читаешь это дореволюционные Некрасова стихи, и так интересно - ты ничего не понимаешь вроде бы, там, «Современники» какие-нибудь или «О погоде», – но почему-то очень понятно. А Лермонтова я прочел в Казани в эвакуации, и тоже было все понятно. Пушкина как-то постепенно, тут не было времени отчетливого знакомства.

Есенин попался почему-то году в 1946-м у тети. Только переехали на завод Ильича, и смотрю - книжечка лежит какая-то непонятная, с березками на обложке, сборник Есенина. И тоже очень здорово.

Маяковского моя мама усиленно в меня его вкладывала. И я действительно его очень любил. Тут вполне совпадали наши с мамой намерения и результаты. Это еще до войны. Да, до войны еще.

Какой Маяковский?

Тогда Маяковский хрестоматийный, стихи для детей, что-то еще. Это везде тогда лезло, хоть по радио, И было совсем неплохо. Какие-нибудь стихи о вселении литейщика Ивана Козырева... «Советский паспорт» звучал очень недурственно. Вообще все впечатления были по радиоприемнику. У нас был «Си» тогда, диковинный. Отец приспособил наушники прямо в кровать. Я болел очень. Большую, существенную часть жизни проводил больной в кровати. Помоему, всеми детскими болезнями переболел. Видимо, отец вспоминал предшествующую эпоху, безумное увлечение радиоловительством, детекторные приемники.

Так вот – Чуковский. Я к Некрасову давно не обращался, и тут вдруг: пишут, и как точно, точно так, как я чувствую, и надо же, как интересно. Это было, помоему, в девятом классе.

А что касается интереса к поэзии и к литературе, я бы сказал так: кроме тех вещей, о которых я сейчас говорил, были острые, резкие вспышки. Во-первых, Ильф и Петров. И вот я должен добром помянуть этого малоприятного и совершенно несимпатичного человека, с которым я жил, помянуть добром по двум

причинам. Во-первых, он меня приохотил к Ильфу и Петрову. Он был из тех людей, которые наизусть знали пассажи из Ильфа и Петрова (правда, он их перевирали).

Есть книжка 1948 года, из дешевой серии, бумажные обложечки. Ильфа и Петрова только-только успели в 1948 году издать, и сразу перекрыли. Я Ильфе и Петрове до сих пор не разочарован. Считаю, что все ахинея и спекуляция - что Булгаков сам по себе, а Ильф с Петровым сами по себе. Одно другого не хуже по-своему. Ну, Зощенко – это я уже, наверное, прочел в более сознательном возрасте, классе в девятом, чуть позднее.

А вот в классе седьмом или восьмом мне что попало: пародии Архангельского. Вот это было упоение, это было, конечно, замечательно. Я и сейчас их люблю так же, как и тогда. Это были настоящие литературные впечатления, как завязка, в точку: что такое литература, как это здорово, когда хочется запоминать и цитировать. И естественно, первое, что я запомнил и читал наизусть, – пародия на Зощенко. Это школа, после которой человек, я думаю, должен определиться: или заболеть этим делом на всю жизнь, или все-таки ему все равно.

- Школа была, видимо, особенная, атмосфера, чувствуется, очень интеллектуальная.

Нет, атмосферы интеллектуальной отнюдь не было, по крайней мере в нашем классе. Вот в соседнем, у «гэшников», там, где Сан Саныч, – у них было.

Еще один знаменитый человек из нашего класса – это Игорь Гунст, он сейчас архитектор, и сильно разбушевался в последние годы: очень много захотел там перестраивать и чуть ли не сносить. Что он успел сделать – разгородить все наши дворы. Теперь наш двор дома № 17 – это то же самое, что двор № 15. Сзади улицы Петровки как бы своя улица образовалась, сбоку, по дворам. По моему, это он не очень удачно придумал... Вот, так сказать, интеллектуальная, что ли, такая фигура. Еще был пижон большой Гена Заславский. Еще был Игорь Фрейденберг, которого я ужасно не любил, просто до драки дело доходило, потому что он задавака был. Я даже впал в антисемитизм под влиянием своего малоприятного родственника Апановича - свою злобу к этому Игорю, который

все время неизвестно с какой радости задавался и задира́л нос, стал переносить, обобщать... Но вот 1953 год и дело врачей, и весь антисемитизм у меня очень крепко отбило, отшибло, я сразу понял, в чем дело. Может, поздно, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. То есть лет в восемнадцать я уже начал понимать, что к чему, и понял зато хорошо.

А второе, за что спасибо этому Апановичу, – это что он Сталина костерил как только мог. Хотя, конечно, делал это аккуратно, хотя и очень шумно, пугал этим домашних, и тестя, и жену, но дальше этого дело не шло, он был человек хитрый, при всей своей якобы необузданности безумной и контуженности. Он работал, кстати, тогда по своей специальности, занимался железными дорогами, в МПС, по-моему, в министерстве.

Мы начали отдавать себе отчет уже в том, что официальная пропаганда - это действительно очень смешно. Наверное, и благодаря Апановичу тоже. Думаю, что при общей нашей ехидности и любви к Ильфу и Зощенко мы – я и знакомые ребята – и сами бы догадались, что это смешно. И догадывались. Но Апанович костерил беспощадно, все точки расставлял: «Чушь какая! Он и экономист, и языковед, и великий стратег, он то, он се».

Это он перед кем? Перед домашними, да?

Конечно, перед домашними. Не перед публикой же. Но главное сказал: все хвалят, на все руки мастер, – это-то и смешно, таких людей просто не бывает и не может быть и никогда. Здравое, простое и несомненное понимание. Что Сталин всех посажал – этого я не знал. Какая-то родственница первой жены отчима Семена Федоровича пострадала, кто-то еще пострадал, но говорили про это невнятно: кто-то умер, кто-то заболел, а кто-то, может быть, в тюрьме сидит. Но очень близких репрессии не задели. А вот несуразность восхвалений Сталина, какой он всемогущий и вездесущий – это было очевидно.

Среди школьников не было таких разговоров?

Нет, я таких разговоров не помню среди школьников. Вернее сказать, я могу сказать, что я сам даже вел такие разговоры, но уже после смерти Сталина.

А какая-нибудь комсомольская, коммунистическая одержимость была в школе? Искренняя...

Конечно, на всех собраниях кто-то вылезает и начинает, как говорили тогда, партийные припадки. (Говорили в кулуарах.) Игоря Фрейденберга я не любил еще и за эту казенность. Он всегда был пионервожатый, с шестого класса, носил красный флаг, у него в отряде детишки были, первоклассники. Может, он был педагог прирожденный, а может, просто ему надо было водиться с теми, кого он умней. Со злости на все это дело я, помню, классе тоже в шестом, наверное, нацепил красный галстук и пытался ходить в галстук (и в пиджаке) года два или три. Но потом к галстукам охладел. Кое-кто из ребят тоже так ходил, но мало кто. В основном кто постарше, а я пытался подражать.

В шахматы еще играл и одно время чувствовал себя большим интеллигентом и шахматистом, играл я неплохо, сначала особенно успехи были, а в старших классах стало немножко скучно, и слишком много времени требует, и толку мало. В общем, я класса с девятого уже в шахматисты особо не лез, у меня остался мой второй разряд, и все.

Вы были пионером?

Ну конечно. Не помню этого момента, но, наверное, должен был быть прием в пионеры. Что вступил в комсомол, и рано, в минимальном возрасте, в 14 лет, – помню.

А были тогда какие-то просветления уже были насчет режима?

Я бы не сказал. Единственное, в чем у меня было просветление – очень удивился постановлению 1946 года, потому что я знал, кто такой Зощенко. И за что ругает этого Зощенко Жданов, – было непонятно. Почему теперь надо считать, что Зощенко – это плохо. Не могу сказать, что особенно много об этом думал, что для меня это был вопрос драматический, надо было решать, за Зощенко ты или за Жданова, и я ночей не спал, – такого не было. Скорее как-то так: зачем? За что? вроде бы смешной же писатель. А потом последовали другие постановления, кампания 1949 года, уже там отзвуки биологии, уже тут что-то такое с

языкознанием подоспевает, с экономикой.... Слишком одинаковые кампании и доверия, мягко говоря, не вызывали.

Помню: 1949 год, шахматы, командное первенство, большой зал (на огромном количестве досок играли, не меньше, по-моему, чем на пятидесяти). Носятся какие-то такие реплики: «Ну ты, космополит безродный, ха-ха-ха»... Все веселятся, всем очень весело. Никто как бы не подозревает ничего плохого. Может, кто и подозревает, но не говорит. Ребята в галстуках сидят (не пионерских), старались быть взрослыми. Самые маленькие – из шестого класса...

Что касается комсомола и всякой казенщины, то здесь было отталкивание чисто вкусовое: все это было связано с казенными фразами, со стереотипным поведением, с позами вот у этого Игоря Фрейденберга, с разными неприятными вещами вроде обязательных. Над этим всем, конечно, принято было смеяться. Привычка подхихикивать, несколько нигилистическая, универсальная. Может быть, и скудоумная, потому что без соображения к этому делу подходили, но тогда эта привычка работала как спасительная.

А чтобы просветление – нет, таким словом я бы это не назвал. Просветление – то есть когда я начал соображать - позднее, в классе, наверное, восьмом-девятом. И уж, конечно, смерть Сталина все поставила на свое место сразу. В 1953 году я как раз закончил школу.

Да, десятый класс. Были, конечно, и до того разговоры, споры, «Голос Америки», у нас еще была компания «гэшников»... Почему еще класс «Г» был такой аристократией - он был такой интернационал, из общаги в нынешней гостинице «Астория» или «Центральной»...

«Центральная».

Тогда гостиница «Центральная» называлась «Люкс». Что значит «называлась» - какое-то название проглядывалось, затертое такое... Нужно было знать, что это «Люкс». Официально это вроде не назывался «Люкс», а было непонятно что. Вращающиеся двери, сидит портъе. Общежитие членов Интернационала. Очень много испанских семей. В классе «Г» училось, по-моему, двое испанцев,

по крайней мере двое, симпатичные ребята. У нас в классе был один очень интересный и симпатичный парень, смешной. По-моему, он тоже был или испанец, или как-то с ними связан. Какая-то почти хохма, непонятно, что он тут делал: сын или, может быть, приемный сын укротительницы. Водил нас к себе домой, а там медведь на цепи, страшно интересно.

И вот ребята из «Люкса» ужасно много дискутировали. Друг мой покойный, Юлий Остринский, из этого «Г» класса, он навспоминал бы больше... Что обсуждали? Со стороны это выглядело свистом большим и трепом. Не то что я был умнее их, но осадок такой был. И такое оставалось впечатление и отношение от этого всего: наплевательское. И, по-моему, не по-глупому наплевательское. И, кстати, потом это отношение очень пригодилось.

Что-то из «Голоса Америки», какие-то анекдоты, но в систему до 1953 года это все отчетливо не складывалось.

В похоронах я не участвовал, но мимо шел. Моя жертва была – хороший пыльник, плащ, светлый, песочного цвета. Пролезать пришлось под каким-то грузовиком, и там было солидолом вымазано, и я как присадил на плащ солидол, скипидаром выводил, еще хуже, желтизна размазалась, ужас. Вот этого я ни Сталину и никому уже не простил до конца дней. Любимая вещь, как шпионы в кино в таких ходят, еще шляпа к нему.

Это вы в толпу пробрались?

Просто там, где я жил, разгородили, нужно было пройти, суешь солдатiku паспорт или что, а он не понимает ни черта, и одно осталось – под машиной пролезть.

Я жил от своей школы в двух шагах, из нашего двора можно было перейти в двор школы. Сейчас-то Игорь Гунст разгородил, а тогда было все дико загорожено сваями. Придумали какие-то такие заборы, барьеры, кирпич девать было некуда. И мы одно время наладились преодолевать эти барьеры, альпинизмом занялись. Вешали проволоку, провода, всякую дрянь, чтобы залезать. Практически это отнимало больше времени, чем обход кругом, но – вопрос принципа. И вот на это все накладывался Сталин нелепый, нужно было обегать больше,

потому что еще где-то перегородили, весь квартал обходить. Опаздывать уже в школу стали из-за этого (а с опозданиями как раз тогда очень нервно боролись).

И вот я в этот раз опоздал сильно. У нас был учитель Валерий Самойлович Бавер, партийный человек, преподавал Конституцию. Кстати говоря, вот что еще заставляло мозги работать – Конституция по Валерию Самойловичу. Он был действительно блестящий преподаватель, его очень любили, но что он делал? преподавал вранье (общественные науки в школьном варианте). Вот он нас всему этому делу учил, и приходилось ему полу-весело, полу-гордо рапортовать и отвечать. Понимали, что здесь что-то не ладится; собственно, не ладится ничего. Бодро улыбнешься, вроде и перемигнешься с ним. Но он ни в коем случае слабину не допускал, чуть кто чуть что – он сразу припечатает. Нет, подлостей от него никаких не помню, а просто воспитание было такое.

«Некрасов, опять опоздали!» А я, не будь дурак: «Последнее сообщение слушал».

То есть вы первым в школе сказали о смерти Сталина?

Нет, я не первым. С утра шло по нарастающей, прибавлялось по словечку: кома, коллапс, что-то еще, дыхание Чейна — Стокса... И вот что-то из этих особенных слов я повторил, чего они не слышали. Предположим, два слышали, а третье нет, и получалось, что я не вру (хотя врал на самом деле). «Имея в виду нынешние события, – суровым голосом сказал Бавер, сжимая в кулаке большую указку, – вроде как я вас прощаю на этот раз, садитесь на место».

Вот слез на глазах я не помню. Один, самый такой вертлявый и юркий человек из нашего класса, Зелигорский, бежит, и кричит мне: «А ты, коллапс!».

Кстати, еще что я запомнил очень хорошо – прекрасная погода была в тот день. Как раз в тот день, когда сообщили о смерти Сталина, вдруг что-то случилось и все сдвинулось. Была гадкая февральская погода, и бац! прекрасный солнечный день.

Про похороны говорили, что черт-те что делается и лучше туда не лезть, и кому это надо; да и тут, где мы были, тоже, в общем-то, делалось порядочное

безобразия, не пройти никуда, протискиваться приходилось, но ничего ужасного. А настроение веселое – это я очень хорошо помню. Немного было и тревожно, то есть понятно было, что событие важное. Но ни скорби, ни страха, что теперь вот нас американцы съедят, – нет, такого не было.

В этом же, кажется, 53 году (а может, и в следующем) была у меня попытка протыриться в Литературный институт. Я писал стихи, совершенно никуда не годные: и технически неумелые, и фальшивые.

На кого ориентировались?

Трудно даже сказать. Безусловно, мой кумир был Маяковский, ранний. Я и сейчас его очень, очень и очень. Тройка: Маяковский, Блок и Есенин (сейчас тоже есть тройка, но немножко другая). С Блоком познакомился я, наверное, в классе девятом - десятом. Попался мне Блок 1946 года, большого формата; Есенин – его я по каким-то клочкам собрал, его практически уже нельзя было достать, раздобыть, как и Ильфа с Петровым. Не то чтобы они преследовались, но как-то неоткуда было взять. Страшно нравилось. И нравилось, да и сейчас нравится, не то чтобы уж так обязательно «Москва кабацкая», а просто деревенские стихи. Маяковский первого тома, Маяковский лирических поэм и всего, что на это похоже, – это, наверное, был самый любимый поэт. Да может, он и сейчас им остался. И, наверное, я если старался что-то сделать, то это должно было быть похоже на Маяковского.

Не помню, что у меня были за стихи, но с нудно-вялым ритмом каким-то. Когда-то казалось, что это обязательный признак начинающего: должен быть какой сдвиг расхлябанный, который делает как бы необязательным размер. Ритм был какой-то общий, неизбежный как бы. И просто удивительно, как меняются эпохи. Тогда ведь казалось, что это вечный ритм, без всякого советского графоманства, с отливом 1920-х годов. Похоже, может быть, на какого-нибудь Мариенгофа или Кузмина плохого. Когда они просто начинают версифицировать, причем не обращая внимания на технику этого дела, а избегая техники. Приблизительно делают.

Слава Богу, конечно, Литературный институт моими стихами не заинтересовался. Но надо было куда-то поступать, чтобы в армию не загребли, и в первый год я поступал на юридический факультет МГУ. Казалось, что юристом сейчас уже можно быть: дескать, теперь как-то всё лучше, посправедливей как-то... Но главным образом просто потому, что – ну а что, ну а куда? Куда-то надо. Я чувствовал, что я гуманитарий и никто другой.

В школе напоследок переэкзаменовка по геометрии. Переэкзаменовка такая: на выпускном все напились в Доме архитектора, где-то в подвале. Все веселятся, визжат, а у меня на следующий день переэкзаменовка. Утречком я иду домой, уже лето, заря синяя, прекрасная над Москвой-рекой... Аттестат у меня плохой был, с тройками.

Сразу пробовать поступать в филологический я не рискнул: не совсем понятно, как литературу можно изучать. А вот, наверное, в юридический можно, более из общих соображений, несколько смутных. 22 очка я набрал и не поступил. И мне тут сильно не повезло (а может, повезло, не знаю), потому что 22 очка из 25 – это было не так плохо, вообще-то говоря, и я схватил документы и помчался куда-то еще... и если бы не убежал, меня бы взяли в соседний Юридический институт. Там брали с 22 баллами, и особенно с удовольствием брали тех, кто сдавал в МГУ. А через полгода этот Юридический слили с университетом. Пришлось поступать черт-те куда по протекции на технологии приготовления пищи в Институт Плеханова.

Но там я проучился всего лишь год. Одну сессию сдал, вторую как-то уж и не захотелось там сдавать... Какая-то милая девушка, я помню, дала мне свою тетрадь, что-то нужно было – не то это была теоретическая механика, не то еще что-то. А у меня преподавательница-хамка отбирать тетрадь. Я хватать! Извините, пожалуйста, – говорю, – я вам отдать не могу. – Как?! Что?!, шум, крик. В общем, уже пришлось идти на скандал. Ладно, – думаю, – все равно мне особенно тут не светит. Ушел оттуда и должен был загреметь в армию. Но тут я для передышки съездил в Мариуполь и там сломал-не сломал, а сильно повредил ногу правую: неудачно прыгнул на ходу с поезда. Там на море ездили кто на

чем, на поездах, на попутках... Я умел прыгать, уже насобачился, потому что каждый год летом. А тут что-то подвернулось.

Дали мне отсрочку, год я болтался без дела. И должен сказать, что этот год дал мне для литературы как никакой другой. У меня был друг с первого класса – Леша Русанов, он меня познакомил со стихами Глазкова, Мандельштама, Олейникова, много с чем. Особенно Мандельштам и Глазков мне понравились, и Глазков заинтересовал больше. Мандельштам – это прекрасно, но «тех времен», а Глазков – тот, кто сейчас живет. Русанов лично его знал и очень много о нем рассказывал: что такое Глазков, который говорит, что он гений, он гений-гений, как это смешно, как интересно.

Русанов мог писать и сам, шутки-экспромты вроде стихов, здорово, профессионально, но он не выступал с этим делом, профессия у него была предполагалась другая (инженер). Когда я поступал в институт, он ушел в армию, на флот и протрубил там четыре года. Свободного времени в юности у него, правда, все равно было много... Уже позднее, в 60-м (?), Русанов познакомил меня с Гинзбургом.

– Расскажите, пожалуйста, про «безграничного пограничника» («а было время / великий кормчий») – это ощущение довоенного времени?

И про «выпустили свет на свежий воздух» - когда возникло ощущение, что воздух пошел? Это из-за института, из-за Лианозова?

–53-й, 56-й год. Было просто ощущение, что мы живем и освещаемся. До того жизнь во мгле, во тьме, в голоде, в холоде. После войны - чувство, что живые остались. И другое: что сам начал соображать. «Безграничный пограничник» – это вовсе не довоенное время. До войны про пограничников, в основном про пограничника Карацупу, слушал по радио, про его собаку Индуса, которая, оказывается, с течением времени превратилась в Ингуса. Я с большим удивлением на этого Ингуса наткнулся уже во взрослом состоянии. Индус был все заметный и занимательный, но не застил весь свет этот пограничник Карацупа, и еще какие-то, кроме него, были герои.

А в стихах пограничник – это железный занавес. Как раз послевоенные времена. Изоляция цивилизации, борьба с преклонением перед иностранщиной, и

эту борьбу я прекрасно помню. Кстати говоря, это способствовало здравому пониманию дел и вещей.

Смехотворность сталинской универсальности была очевидной для мало-мальски все-таки соображающего взрослого человека. Сталинский план преобразования природы. Это было уж чересчур, даже для школьника не слишком бойкого, но и не последнего лопуха. Начиная с класса, наверное, седьмого. Это было слишком, вызывало насмешку. А вот борьба с низкопоклонством перед Западом вызвала уже не только насмешку, но и озлобление, и приводила даже к становлению, если угодно, каких-то идеалов, ценностей. От противного. Попросту говоря, многие «западные» вещи ведь любили, а вовсе не обезьянничали.

Впечатления военные, военные положительные эмоции, вроде вкусных консервов из американских посылок (когда доставались – очень редко, но было). Фильмы американские и английские, «Три мушкетера», «Багдадский вор» – очень здорово. А уж о песенках («Кабачок», «Бомбардировщики», «Мы летим...») и говорить нечего. Кстати, борьба с иностранщиной ведь еще до войны начиналась.

Так же действовала, конечно, кампания против журнала «Звезда» и «Ленинград». Это очень способствовало росту, можно сказать и так, идеологического самосознания широких масс, по крайней мере, учащихся старших классов средней школы. Нельзя было объявить хорошую литературу плохой так просто, безнаказанно. У кого-то, вероятно, мозги калечились, он начинал жить по двойному стандарту, дергался, то туда тумблер, то туда, то восхищается, то прокликает. Были и такие люди. Но чтобы сознание стало таким и только таким – смешно было и думать, конечно. Здесь крупный был у товарищей просчет. Я уже знал, что стихи Есенина – очень хорошие стихи, с детства знал. Объявить эту поэзию плохой нельзя было для меня. Нельзя было объявить плохими «Золотого тельца», «12 стульев» и доказать мне, что это плохо. Я пытался разобраться в этих доказательствах и видел, какие они жалкие и наглые. Тогда и начали соображать, сопротивляться идеологическому давлению. Не то чтобы соображать хорошо и отчетливо и сопротивляться сознательно и активно, но нежелательные для властей ощущения складывались и нарастали.

Достаточно было взглянуть на какую-то открыточку и сосчитать количество этажей в небоскребах (видны были плохо, но все-таки видны) и сравнить с гостиницей «Москва», чтобы заколебались представления, которые нам пытались внушить. А насколько тошнотворное произведение Горького «Город желтого дьявола», ей-богу, – это было всем понятно, что тут особенно нечего размышлять, почему это так плохо. Вранье.

Про это есть неплохая пьеса, «Взрослая дочь молодого человека» (точнее, пьеса с неплохим первым действием).

Забавная, кстати говоря, была советская давняя очень традиция, еще с тех времен, которые я не застал, с 20-х, 30-х годов, традиция разоблачений негодной западной музыки, и, естественно, для лучшего обличения надо было такую музыку вывести на сцену: врага ж надо знать. Жалкий ход для сокрытия того удовольствия, которое разоблачители сами получали от этой музыки. И все ходили на такие спектакли: «Джон – солдат мира», «Миссурийский вальс» (кажется, в театре на Таганке), «Голос Америки» (театр Советской Армии). Это было модно именно по этой несчастной причине, что хоть в дурацком виде, но можно было показать американцев с их музыкой. И уж, конечно, нарасхват был спектакль «Под шорох твоих ресниц», якобы пародия на Голливуд. Ничего себе пародия. Там, вообще говоря, хорошие были музыканты. Цфасман просто-напросто брал и играл чужую хорошую музыку, якобы как свою, да мы и не знали имен. Кто постарше, может быть, пограмотнее – знал, но вообще не вникали, а просто с удовольствием, с наслаждением слушали эстрадные штучки, джаз. Спасибо и на том. Плохо только, что это шалость, ложь, разоблачения какие-то, критика американского образа жизни, американского искусства.

Не у всех вкус одинаковый, конечно, не всем джаз нравится, но кому не нравился – тот просто его не трогал, не пытался делать вид, что он борется с чуждым веянием.

Бороться с советской идеологией, – постоянной, ничего с ней поделывать нельзя было, никуда ее деть было нельзя – видимо, можно было только ложью. Что и делалось.

Да, возвращаюсь к «при папе маме / и при Папанине» («мои / папа и мама»). Про Папанина сказать особо нечего, кроме того что каждую зиму была какая-

нибудь героическая эпопея. Вот челюскинскую я, собственно, не застал, хотя слово помню очень хорошо. Застал в слишком общем виде. А папанинскую застал. По радио следили за всем этим. И, конечно, папа и мама читали прессу – газеты, журнал «Огонек», который, кстати, я помню, очень красивым по-своему этот был журнал «Огонек». Были иллюстрированные журналы еще, помню «СССР на стройке» и какие-то зарубежные издания. Все это охотно, очень поглощалось и смотрелось. Папанинцы – то, что проходило на глазах. Потом героический дрейф ледокола «Седов». Каждую зиму полагалось какое-нибудь такое... в героические и опаснейшие ситуации попадать советским полярникам. Полярники – были главные люди. И когда в какую-то, кажется, уже в последнюю зиму, ничего такого не случилось, то явно чего-то не хватало.

Финскую войну переживали не так, как можно было ожидать. Помню про нее мало, только какую-то вокзальную толчею... И помню синие лампочки, упражнения светомаскировки. Проявлялась тут, видимо, нечистая совесть нашей авиации. Бомбежки финских городов – это большая заслуга нашей армии и советского правительства, одна из самых красивых страниц. Какая там у финнов могла быть авиация... По-моему, она до Ленинграда даже не долетала. Но, тем не менее, синий свет у нас был и изображал собой маскировку, на Павелецкой, Московской железной дороге... Игры с воздушной тревогой – это тогда было вообще принято, в Москве было, и в Мариуполь приехал и застал хари противогазовые. И страхи эти помню.

Была тогда детская книжка – «Мальчик в противогазе». Еще «Приключения Травки» <повесть С.Розанова написана в 1928 г., переделана в 1951>, про мирное время. Что там? Травка по Москве катается, то ли потерялся, то ли нет; метро, трамвай, троллейбус, автобус, много интересного. А «Мальчик в противогазе» – такие приключения, ожидаемые от будущего: про учения, как противогаз надевать. Вот эти учения и окошки, перекрещенные бумажными полосками, буквой «х», крест-накрест, наискось, я очень хорошо помню, и помню, что это было хоть и интересно, но жутко. Потому что объясняли, в чем тут дело, что может упасть бомба и что от этого будет.

Помню плакаты предвоенные, видимо, в последнюю зиму. Черная краска и ужас: женщина прижимает ребенка в груди. Конечно, это особенно красивый

плакат на фоне нашей политики, нашего сочувствия Германии, которую колошат англо-американские империалисты. Наша страна в красно-розовых тонах, счастливые лица, женское и детское, цветы, знамена вздымаются. Понятное дело, праздник на нашей стороне.

Когда война началась, мы жили на даче, и дачу эту стали бомбить. Ловили шпионов, парашютистов. В малаховском детском саду воспитательница поймала, окружила какого-то деда и орала на него А он шамкал, огрызался – «Пачпорт? Какой пачпорт? Что пачпорт?». Был слух, что сбили летчицу немецкую.

Кстати, одна из героических эпопей – это эпопея наших летчиц, Расковой, Осипенко и Гризодубовой. Славный экипаж на самолете «Родина» летел, но не совсем долетел, с большими трудностями выбирался из тайги. И была знаменитая фраза, ее потом все повторяли: «Продукты на исходе, питаемся шоколадом». В войну повторяли, когда продукты были на исходе, но шоколадом не питались. Так или иначе, летчицы – это было как-то особенно военно-воздушно, и когда сбили кого-то, то, конечно, не летчика, а летчицу. Несколько симметрично по отношению к нашим. И эта сбитая летчица сообщила, что Гитлер велел: «Если на Москву бомбы не свалите, то кидайте уж на Малаховку». Видимо, требовалось объяснить тот факт, что на Малаховку упало несколько бомб. Одна бомба, по-моему, попала в почту, а другие сильно потревожили наш поселок. В частности, у нас перекосилась труба и домишко перекосился, помню, как хлопнуло по-страшному в стенку. У меня над изголовьем Калинин висел, барельеф, продавались тогда на рынке такие: на розовом фоне голубой Калинин или, наоборот, на голубом розовый, – так этот барельеф от удара со стены соскочил и через меня перелетел, так мать потом долго говорила, что случай спас. Хотя барельеф этот был гипсовый, легкий, ничего б не случилось, если б он меня по башке стукнул...

Было достаточно тревоги и паники, но и интересно было тоже: появились хорошо выполненные плакаты с немецкими самолетами, и можно было вникать, кто там Ю-88, кто «Хенкель», а кто там «Мессершмитт»; и даже «Дорнье» какой-то был. «Мессершмитт» двухмоторный, одномоторный. Пикирующие бомбардировщики, Юнкерс транспортный, большой. Юнкерс самый интересный.

Прожектора, которые по земле шарили, – это было, конечно, зрелище. Примерно в километре от нас стояла зенитная батарея, в лесочке, на болотце, куда раньше ходили гулять. Пушки сильно лупили. Мы уже знали, что бомба летит с воем, и после взрыв. А когда пушка – наоборот, сначала выстрел, а вой уже потом, и немножко слышно, как снаряд летит. Странно было. Я хорошо помню звук в начале полета, казалось здорово, только плохо, что сыпались осколки.

Бомб в нас попало все-таки не так много, несколько штук. А осколки во время налета – это был серьезный, постоянно действующий фактор. Они сыпались здорово, густо, и сыпались головки снарядов сыпались тоже. Их, конечно, ребята собирали. У меня было таких осколков много и головок штуки две, алюминиевые, они, по-моему, даже вращались. Снаряды рваные, красивые такие, страшные куски металла. Этим делом народ колотило, и очень скоро все начали всерьез прятаться в щели. Одно дело испуг общий предвоенный, пропаганда, а другое дело реальная опасность. Стали рыть блиндажи во дворах, щели серьезные, подальше от дома. Были рекомендации в брошюрках: что делать, если дом рухнет. К нашим поселкам, тогда сплошь фанерным, это на самом деле не относилось. Дома были из фанеры, из дощечек, что там могло рухнуть, чем завалить?

Тем не менее, на положенном расстоянии рыли блиндажи, и отец вырыл, и накат на блиндаже был. Рекомендовалось делать окопы, как пехоте, и тогда ты уцелеешь. Предполагался ущерб от бомбежки фугасами. Но люди поумнее не стали землю рыть, кубометры перебрасывать, а делали по-другому: наши соседи навес поставили, становились под навес и смотрели на прожектора, иногда на трассирующие пули, как на фейерверк. Их защищало от осколков, которые нет-нет да и стукнут где-то поблизости по крыше. Соседи были вполне довольны, но некоторые, кстати, не могли лезть в щель, развивалась клаустрофобия. Наш сосед в щель даже провел электричество, аккумулятор поставил, кстати, света не было тогда еще, были керосинки, а у него в щели освещение, чуть ли не радио, хозяйственный человек.

Наступление. Мне кажется, я даже помню знаменитый пожар в Филях, зарево на полнеба. Только мы едва ли могли видеть именно завод в Филях, слишком далеко.

Уже когда в Москву переехали, бомба грохнула прямо в типографию газеты «Московская правда», у нас на Петровке, во дворе нашего дома. (Мы в эту типографию ходили от нашей школы, лазали через стену.) Это за день-за два до моего переезда на Петровку. Все стекла выбиты.

Там был аквариум, я этот аквариум видел до войны, и он погиб, конечно, вся вода вылилась, рыбам конец пришел.

Крутые времена начались после возвращения в Москву, хотелось есть, а почему-то не удавалось наесться досыта. Это продолжалось с 41-го по 45-й год: уехал к тете и там наелся.

Воздушная тревога – и все сыпались вниз, в подвал. Бомбоубежище было в подвале дома номер 17, большого, семиэтажного, на Петровке. Мы шастали по Москве, и я не помню, было ли такое, чтобы во время бомбежки залезать в метро. Как люди залезали, я видел, а мы сами, по-моему, шли домой. Полагалось загонять, но не очень сурово загоняли, все и так всё понимали. Светомаскировка началась, шторы – это все я помню отлично. Паника, со двора кричат: вдруг свет видно? Абсолютнейшая, конечно, чепуха для большого города, дрессировка населения; ну, может, отчасти терапия: люди делают все, что могут, и таким вот способом обороняются. Про затемнение было очень здорово написано в «Великом противостоянии», как снимают маскировку и как это переживается.

Я этого не пережил, увидел в готовом виде, когда вернулся в Москву в 47-м году. Тем сильнее было впечатление: выпустили нас на свет.

В Мариуполе, откуда я в Москву приехал, таких эффектов не наблюдалось, там было не важно, есть затемнение или нет его, потому что металлургических два завода не затемнишь. У обоих заводов плавки – грандиозное дело, бабахает на полнеба, очень здорово, красиво. Был такой поэт, по-моему, Люшнин, у которого были отличные строчки: «Смотрит в небо Мариуполь на огневые облака». Мне товарищ привез из Мариуполя, сборник, и там тоже какие-то стихи самодельные: смотрю, там те же строчки приписаны другому человеку... Первое поэтическое впечатление от Мариуполя эти две строки, сразу после войны прочел.

В Москве еще очень старались после войны устраивать праздничные иллюминации. Это было общее желание, и правительство шло навстречу: лампочки по всем зубцам кремлевской стены, например. Так праздновалось 800-летие Москвы и такое было 1-е Мая, по-моему, тоже в 47-м году, сразу как я вернулся. 9 Мая праздновали вслед за Первым нисколько не хуже.

В войну, конечно, опускались маскировочные шторы, и наружу свет, действительно, не пропускали, темно было снаружи, но и внутри тоже темно и жутковато. С тех пор я очень не люблю, когда комната освещается не верхним светом, а боковым. Состояние от этого тягостное – какой-то военной болезни. В войну был лимит на свет, одна лампочка в комнате, на граче, лампе такой черной, поворачивающейся, поднимающейся на столе. Буржуйка, угар, от этого голова болит. Маскировочная штора ловит свет тусклый, косой какой-то, неправильный, больной; ловит дым и плохо очень ловит тепло, несет все через эти шторы, потому что нет тепловой подушки: печечка-буржуйка стоит посреди комнаты (батареи обычно под окном, именно для тепловой подушки). Снаружи тьма-тьмушая, темень. Помню, я изобретал какие-то средства освещения, а то и по лестнице даже не пройдешь. Синие лампочки. Гильзы то ли от противотанковых ружей, то ли от чего-то еще, большие, гораздо больше винтовочных обычных гильз, в них наливали керосин. С керосином тогда было довольно свободно, керосинки (корогазов не было). Нальешь в гильзу керосина, вставишь какой-то фитиль, и важно было приделать, проволокой прикрутить крышку от консервной банки, какую-нибудь жестянку круглую, чтобы она светила и пускала блик – получается фонарь. Идешь и светишь этой штукой. Об электрических фонариках никто и мечтать не смел. То есть сами фонарики были, но батареек не было, ничего не было. Помню, как фонарь продавался: огромный ящик с небольшим рефлектором и лампочкой. Какой-то военный суррогат, батарея – аккумулятор, конечно, она быстро села и этот ящик остался не у дел. Были фонарики у военных, на двух ремешочках, крепились на пуговицы шинели. Были немецкие фонари сигнальные с разноцветными стеклами, у меня даже такой был. С ними ходили патрули ходили, у военных батареечки были.

Я глупость пробовал делать, ртуть натирать. Откуда-то у меня была ртуть, градусник что ли разбил: отражатели стеклянные, конечно, сияли, сверкали, но

недолго. Мы с мамой ходили, гуляли, я очень горд был, что у меня собственный осветительный прибор. А когда у меня появился фонарик, помню, что пускал зайчика. Можно было пустить с Козицкого переулка на улицу Станиславского, на дом большой, Дом актера, что ли. Совершенно темная стена, и зайчик ее действительно достигал – это было, конечно, сильное впечатление. Слабый-слабый блик, потому что совершенно не сфокусированный.

А еще впечатление – крыши. Мы на четвертом этаже, и в нашем доме это высоко, крыши соседних домов видно. Я с детства запомнил, какие эти крыши есть, какие они должны быть. И очень удивился, когда они вдруг стали меняться. Сразу даже не понял, что происходит, где-то в 57-м году, примерно к фестивалю. Крыши тогда стали (как и всю Москву вообще) здорово подновлять. «А что это такое? А, Господи!» – тут я понял, в чем дело, привык к крышам в заплатках, залитым асфальтом, битумом, наложены тряпки и залиты чем-то таким черным и серым. И вроде так и должно быть всегда. Почему так? Те самые осколки в войну крыши дырявили, а бедняги домоуправы, все жильцы как-то чинили, так что крыши хоть и текли, но не катастрофически, и заплат хватило лет на десять, даже больше.

Про голод в эвакуации. Я рассказывал уже, что с дистрофией валялся в больнице в Казани 40 дней, вместе с ленинградскими детьми, физически не мог ходить в школу. В Москве уже можно было что-то пожевать; есть хотелось все время, но не так, чтобы валиться от голода. В школе засиживались долго, потому что дома было хуже. В школе был завтрак, так это называлось, то есть носили по бублику и по ириске. Иногда еще стакан чая. Обычно завтрак был сухой, тем не менее, с удовольствием сидели, и учительница с нами, и читали мы «Марка страны Гонделупы», любимая книжка. Чем позже домой попадешь, тем лучше, а в школе хоть тускло, но светло. Классная комната: тоже света не хватает, но все-таки он сверху хотя бы светит, как-то повеселее.

Помню раненых, много: госпиталь близко от нас по улице Москвина и на той стороне Петровских ворот. Раненые остались в памяти как люди активные, бодрые – кто с костылями, кто с палкой, кто с чем, но не унылые...